

## ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Само по себе словосочетание «язык и культура» чаще всего порождает ассоциации с тем, что называют «культурой речи», иногда – с языком художественной литературы. Об этом речь не будет идти. Речь пойдет о некоторых аспектах того, как, изучая язык, мы можем объяснить особенности той или иной культуры и, наоборот, как, изучая культуру, мы можем объяснить особенности того или иного языка.

По понятным причинам я не буду пытаться сейчас дать содержательное определение культуры. Что такое культура – это большой и сложный вопрос. Но, вероятно, при любом определении можно утверждать, что язык как таковой является основанием культуры. Возникает естественный вопрос о врожденном компоненте в языке, это тоже отдельный большой вопрос и я немножко затрону его в конце лекции, но, сколь бы ни был весом компонент врожденного в языке вообще, любой конкретный язык есть плод культурной эволюции соответствующего сообщества. В языке — в его словаре и грамматике — нам явлена картина мира сообщества, его, этого сообщества, кристаллизованный опыт.

Здесь не избежать «вечного» вопроса о лингвистической относительности, который давно обсуждается не только филологами, лингвистами, но и философами, психологами. Вопрос иногда формулируется таким образом: язык формирует мышление или мышление формирует язык? Наверное, любой гуманитарий знает хотя бы что-нибудь о гипотезе Сепира — Уорфа, о взглядах Гумбольдта, о неогумбольдтианстве в духе Вайсгербера. Я не буду сейчас обсуждать то, чем отличается Сепир – Уорф от Гумбольдта, позволю себе сослаться на то, что решение этой проблемы было мной предложено в книге, вышедшей в 1977 году «Элементы общей лингвистики». Решение состояло в том, что вопрос «язык определяет мышление или мышление определяет язык?» должен получать принципиально разные ответы в зависимости от выбранного ракурса рассмотрения: филогенетического или онтогенетического. Лингвистическая относительность действительно существует. Почему, скажем, эскимосы различают множество разновидностей снега, то есть существуют отдельные слова для многих разновидностей снега, а в бирманском языке снег и пух хлопкового дерева могут обозначаться одним словом? В этих и ряде других случаях (примеры можно умножать до бесконечности) лингвистическая относительность фактически проявляется в том, что экспонент знака (означающее) и денотат (референт) соотносятся не напрямую, не непосредственно, а через десигнат (означаемое, сигнификат, существует несколько терминов). Для тех, кто знаком с литературой я могу сказать, что это хорошо показывает знаменитый треугольник Огдена – Ричардса, который в основных своих чертах воспроизводящий взгляды стоиков: означающее («символ») и референт там соединены пунктирной линией, сплошная идет от означающего к референту и наоборот через означаемое («мысль»). Иначе говоря, идиоэтническая мысль выбирает в «вещи» некий ракурс, который и ассоциируется с данным означающим. Очень простой пример можно привести даже не выходя за пределы одного языка: возьмем слова «луна» и «месяц». Они относятся к одному и тому же референту, к одной и той же вещи, но каждое из них выбирает в референте «что-то свое», какие-то специфические признаки: обозначение луна мотивировано светом, исходящим (отражающимся) от луны. В словаре Фасмера приводится слово «лунить» со значением — бросать тусклый отблеск, а обозначение месяц, слово месяц мотивировано связью меры времени с фазами луны. Здесь разные ракурсы сосуществуют в пределах одного языка, русского, но, конечно, еще чаще такие расхождения мы встречаем в разных языках.

Именно идиоэтничность мысли создает феномен лингвистической относительности. Вполне понятно, что этот выбор ракурса не осуществляется каждым индивидуальным носителем языка, он осуществляется «родом», т.е. в филогенезе. Именно в филогенезе мысль определяет язык; точнее, в языке закрепляются результаты

когнитивного опыта, который (этот опыт) носит идиоэтнический характер.

Иное дело в онтогенезе. В онтогенезе, где, как уже косвенно упоминалось, каждый «вновь пришедший» член популяции, который не может не осваивать язык, именно через последний получает существеннейшую долю уже «готового» когнитивного опыта, в языке кристаллизованного. Поэтому можно сказать, что во многом прав М.Хайдеггер: «Не мы говорим на языке, но язык говорит нами». Некоторые авторы говорят, что язык «репрессивен», он подавляет нас, он навязывает нам свою картину мира. Следовательно, с онтогенетической точки зрения язык в значительной степени формирует мысль.

В значительно более широкий контекст этот тезис вписывается, если мы привлечем положения так называемой биоэпистемологии. Эти положения впервые были выдвинуты Конрадом Лоренцем, который у нас более известен как автор книг, связанных с этологией, с зоопсихологией. В статье «Кантовская концепция а priori в свете современной биологии» (у нас эта статья появилась в переводе в 2000 году). Лоренц начинает со сжатого изложения знаменитой теории Канта о «вещи в себе» и о сущностном разрыве, который, по Канту, налицо между этой последней (то есть нашей мыслью) и нашей мыслью о ней. Лоренц пишет: «Согласно Канту, категории пространства, времени, причинности и т.д. суть данности а priori, определяющие форму всего нашего опыта и делающие сам опыт возможным». О вещи в себе мы ничего не знаем, кроме того, что она существует; она непознаваема, а то, что мы считаем отражением вещи в себе в наших ментальных механизмах, именно типом механизмов и определяется, то есть типом наших собственных ментальных механизмов.

Лоренц замечает по этому поводу, что «тот, кто знаком с врожденными реакциями живых организмов, согласится предположить, что априори существует в силу наследственной дифференциации центральной нервной системы, специфичной для разных видов и определяющей предрасположенность мыслить в определенных формах». Но эта предрасположенность возникла в результате эволюции — в результате приспособления центральной нервной системы к данному типу действительности, к данному типу среды. Лоренц приводит такую аналогию: плавник рыбы — ее наследственно детерминированный орган, генетически заданный, его вид и функции определяются именно и только генетикой и не зависят от среды, с которой плавники (и рыба как таковая) взаимодействуют. Но это — соотношение, действительное для каждой индивидуальной рыбы, в онтогенезе каждой рыбы воспроизводится данный тип органа, который генетически запрограммирован на данный тип взаимодействия со средой. Но совершенно очевидно, что в филогенезе именно взаимодействие со средой сформировало плавник в ходе эволюции. Соответственно лишь с точки зрения онтогенеза и данного момента на эволюционной траектории можно говорить о независимости плавника от среды, о том, что тип строения предопределяет взаимодействие организма со средой.

Точно так же можно утверждать, что разум человека (его ментальные, когнитивные структуры) не зависят от опыта, от вещей в себе лишь с точки зрения онтогенеза, с точки зрения состояния на данный момент эволюции. Однако если рассматривать весь путь эволюции, то придется признать, что ментальные, когнитивные структуры человека, его центральная нервная система (на базе которой они существуют), сложились эволюционным путем именно как результат взаимодействия со средой — с вещами в себе — и в этом смысле средой определяются.

Лоренц как будто бы нигде не употребляет термин «онтогенез» (хотя и говорит об отдельно взятом организме) и термин «филогенез» он тоже не употребляет, но параллельно с тем, что говорилось выше по поводу соотношения языка и ментальных (когнитивных) структур человека, представляется разительной. Иначе говоря, лингвистическая относительность, та самая относительность, вокруг которой так много споров, это — лишь частный случай результата, который возникает в ходе эволюционного приспособления к некоторой среде, к разным средам для разных этнокультурных популяций. Чаще всего мы не можем описать такую среду сколько-нибудь полно; на данный, наблюдаемый нами момент эволюции язык, а это система достаточно консервативная, воспроизводит с помощью отчасти генетических, отчасти

культурных механизмов картину мира плюс правила ее описания при коммуникации, которые (картина мира и правила) адаптивно удовлетворительны для «какой-то» экологической ниши. Больше мы ничего не можем сказать по этой части, только «какой-то», она нам неизвестна.

Таким образом, ответ на вопрос «почему эскимосы различают множество разновидностей снега, а в бирманском языке снег и пух хлопкового дерева могут обозначаться одним словом?» абсолютно ясен: это, если угодно, экологически мотивированные различия, и, конечно, не язык — причина чувствительности или нечувствительности к тем или иным различиям в мире вещей. Разумеется, гораздо труднее ответить на вопрос о том, почему в одном языке два грамматических времени, а в другом — пять, но и здесь, в конечном счете, нужно искать экологические, в широком смысле, причины, относящиеся к взаимодействию ума, разума, который преднастроен на любую «земную» действительность, с действительностью именно данного, а не какого-то иного типа.

И, повторим еще раз, та же проблема приобретает существенно иной облик, если мы взглянем на нее с точки зрения онтогенеза. Любой человек в своем индивидуальном развитии приобретает и структурирует свой опыт во многом не благодаря непосредственному взаимодействию миром, а «через» язык, в котором уже явлен кристаллизованный опыт общества. Откуда юный эскимос знает, что нужно различать *n*, а не *m* разновидностей снега? Безусловно, благодаря тому, что именно столько разновидностей различает язык, как он используется окружением ребенка.

Таким образом, обе противоборствующие точки зрения: «первична мысль — вторичен язык» и «первичен язык — вторична мысль» оказываются в равной степени верными, они дополнительно распределены относительно филогенеза/онтогенеза соответственно.

К этому можно было бы добавить, что, даже если бы мы не противопоставляли филогенетический и онтогенетический подходы, у нас и тогда были бы основания говорить об определенной паритетности языка и мысли. Как удачно замечает американская исследовательница Лерита Коулман: «применительно к каждому конкретному индивидууму при функционировании языка имеет место своего рода проприоцептивная обратная связь наподобие той, что связывает информацию о работе лицевых мышц и информацию об эмоциональных состояниях человека». Иными словами, положительная эмоция вызывает улыбку, но и сама по себе улыбка вызывает положительную эмоцию. Так же с языком: тип упорядоченности опыта отражается в языке, который, в свою очередь, оказывает обратное влияние на способ концептуализации.

Различение филогенетического и онтогенетического подходов необходимо, как кажется, и при определении природы значения вообще, природы значения как такового. Так, Анна Вежбицка дает блестящие толкования, например, цветообозначений, утверждая, в частности, что «зеленый» — это, огрубляя, цвет, который ассоциируется у человека с цветом влажной зелени (она так формулирует: «люди могут подумать о таких вещах, когда видят нечто зеленое»). Однако вызывает сомнение, что люди действительно думают, даже потенциально (как говорит Вежбицка — «могут подумать») о листе, о траве о таких вещах всякий раз, когда они произносят или слышат слово «зеленый». На самом деле и здесь мы имеем дело с филогенетическим подходом: таково происхождение семантики слова зеленый. Это вполне правдоподобно. Но если мы обратимся к онтогенетическому подходу, или можно сказать к синхронному или индивидуально-синхронному подходу, то можно сказать очень просто — зеленый есть тот цвет, о котором говорят зеленый — и этим утверждением проблема исчерпывается.

Здесь можно дополнительно отметить два пункта. Первый заключается в том, что семантика имен собственных, с этой точки зрения, не отличается радикально от семантики имен нарицательных. Мы безусловно правы, когда формулируем, что «X есть Джон, если и только если его зовут Джон». Аналогично, как, по существу, сказано выше, «X есть зеленый, если и только если о нем говорят зеленый». Отличие имен

нарицательных, с этой точки зрения, заключается в том, что их семантика разложима в терминах семантических примитивов, если, конечно, эти имена сами по себе не отвечают семантическим примитивам (об этом понятии будет еще идти речь дальше). Последнее, применительно к именам нарицательным, в сущности, означает, что семантика нарицательных имен системна, то есть вопрос сводится к весьма тривиальному тезису.

Второй пункт заключается в том, что, как нетрудно видеть, семантическая формула, приведенная выше, формально воспроизводит условие истинности по Альфреду Тарскому и целому ряду других логиков, философов и семантиков. В этой традиции утверждается, например, что «трава зеленая» — истинно, если и только если трава зеленая. Но Тарский и другие пытаются «очистить» классическое определение Аристотеля от обращения к реальному миру, замкнув его рамками языка, что едва ли правомерно: они хотят ввести в рамки культуры то, что на самом деле лежит на пересечении культуры и «натуры» (трава сама по себе — вне культуры, лишь ее концептуализация, в том числе в аспекте цвета, принадлежит культуре). В отличие от этого, квазитавтологию определение семантики типа «X есть зеленый, если и только если о нем говорят зеленый — закономерно, поскольку оно прямо отражает конвенциональность и произвольность знака (в сосюрковском смысле соответствующих терминов).

Что касается семантических примитивов, то можно утверждать (тоже не без оговорок, об этом будет сказано ниже), что они реальны как семантические универсалии или, может быть, почти — универсалии, но не лексические универсалии. Клифф Годдард и Анна Вежбицка в коллективной монографии, которая вышла под их редакцией в 1994 году, находят в разных языках «точные» лексические соответствия всем 37 элементам из своего универсального списка примитивов, обычно они извлекают эти значения из многих возможных для конкретных слов, но в этом случае они фактически не различают полисемию и омонимию, ведь только во втором случае, т.е. в случае омонимии, мы имеем право утверждать, что нашли отдельное слово для данного примитива, в первом же — перед нами одно из значений некоторого слова, сама полисемичность которого помещает его в другой «узел» системы, нежели искомый однозначный примитив. Фактически к этому выводу склоняется и Николас Эванс, один из соавторов коллективной монографии под редакцией Годдарда и Вежбицкой. Он, рассматривая материал языка каярдилд, пишет: «...Свидетельство языка каярдилд говорит о том, что все примитивы являются семантическими универсалиями, но некоторые из них не могут претендовать на лексическую универсальность».

Здесь хочется добавить несколько слов о самой категории семантических примитивов. Анна Вежбицка полагает, что примитивы, будучи в принципе неопределяемыми (что безусловно верно, иначе само понятие теряет смысл), обладают интуитивной «самопонятностью». Из этого должно следовать, что и конструкции (или конфигурации) примитивов носители языка с большей или меньшей легкостью отождествляют с теми лексемами, языковыми единицами, которым эти конструкции, эти конфигурации соответствуют. Но, экспериментальная работа, проведенная нами совместно с Натальей Кулаковой, показала, что это не так. Носители русского языка в типичном случае не в состоянии отождествить наборы соответствующих примитивов с исходными лексемами. Это ставит под вопрос саму по себе категорию примитивов. По-видимому, мы имеем здесь дело с частным случаем недостаточности принципа редукционизма, который, как признает большинство историков философии, потерпел крах, когда его довели до своего логического завершения представители логического позитивизма.

Пожалуй, приходится констатировать, что проблема на сегодня не имеет окончательного решения. С одной стороны, в силу целого ряда причин, обсуждать которые здесь трудно, необходимо признать реальность примитивов как врожденных когнитивных категорий (скорее именно когнитивных, а не семантических), с другой стороны, остается неясным статус конфигураций, которые мы получаем, когда представляем значение лексем, слоформ, дериватов в качестве наборов примитивов.

С проблемой примитивов связана очевидным образом и проблема универсальности и

идиотничности семантики, а отсюда и проблема взаимопонимания, в частности — переводимости. Можно сказать (и здесь, конечно, нет ничего радикально нового) что это всего лишь благородная иллюзия, полагать — что мы понимаем друг друга. Мы понимаем друг друга с точностью до поведенческого взаимодействия; некомуницируемый остаток остается драматически неустрашимым. Это не отрицает положения о «психологическом (или ментальном) единстве человечества», но вводит его в определенные рамки.

Если полагать, что, как сказано, семантические (когнитивные) примитивы носят врожденный характер, то, они, конечно, универсальны по определению. Но когда, под влиянием данного языкового окружения, примитивы входят в те или иные конфигурации, они подвергаются определенной модификации. Это может служить частичным ответом (но всего лишь частичным) на вопрос, поставленный выше. Можно привести параллель из области фонологии. Применительно к фонологии тоже имеет смысл говорить о врожденных примитивах, прообразах дифференциальных признаков; однако конфигурации дифференциальных признаков, сопоставленные фонемам конкретных языков, уже не универсальны. Что еще более важно: меняется само содержание дифференциального признака, несмотря на их исходную врожденность — в зависимости от контекста конкретных наборов дифференциальных признаков. Например, звонкость (сонанта) не эквивалентна звонкости шумного. Для сонанта в английском, русском, французском звонкость вообще не есть дифференциальный признак, а звонкость сонанта в языке, где есть глухие сонанты (например, язык ангами-нага), не эквивалентна звонкости в языке, где глухих сонантов нет.

От рассуждений о языке попытаемся перейти к рассуждениям о дискурсе. Конкретный язык как система содержательно интерпретированных оппозиций есть, как уже сказано в начале этой лекции, концентрированное выражение картины мира данного сообщества. Я не хотел бы специально обосновывать этот тезис, но есть много оснований полагать, что такой картине мира присущи основополагающие черты мифа, и в этом смысле язык (его семантика) есть первичный миф, структурирующий и объясняющий реальность одному ему присущим способом.

Ясно, что язык призван порождать тексты, или, иначе, обеспечивать дискурс. Дискурс тоже несет отпечаток культуры этноса, не во всем сводимый к закономерностям грамматики и лексикона данного языка (включая семантику и прагматику). В этой связи хотелось бы обратиться к феномену, который знаменитый американский лингвист Хомский назвал *pro-drop*. В тех языках, где это явление представлено (например, русском, итальянском, испанском и т.п.), мы говорим, скажем, «пою» или «canto», опуская местоимение, в данном случае первого лица единственного числа, а в английском, французском и многих других языках, употребление местоимения обязательно, опустить его практически нельзя.

Вполне понятно, что феномен опущения актантов, прежде всего личных местоимений, пытались объяснить их семантической избыточностью, когда лицо уже выражено глагольной формой, как в русском, испанском или итальянском языках. Однако это объяснение явно неудовлетворительно, если мы выйдем за пределы привычного круга языков и примем во внимание такие языки, как китайский, японский, тайский или бирманский, где полностью отсутствует глагольное согласование, но явление *pro-drop* выражено едва ли не в большей степени, нежели в указанных индоевропейских языках и целом ряде других.

Любопытно, что обычность нулевого дейксиса, как можно иначе назвать наиболее типичное проявление *pro-drop*, обычно сопровождается типичностью нулевой анафоры, т.е. опущением местоименных элементов, которые отсылают нас к какому-то слову антецеденту в предыдущем тексте. Нередко это наблюдается даже при смене темы в пространстве текста, когда новая тема формально вообще не вводится, а лишь «вычисляется» из контекста и фоновых знаний участниками коммуникативного акта.

Нами с нашими сотрудниками и аспирантами было проведено статистическое обследование текстов, преимущественно параллельных, на русском (Р), английском (А), испанском (И), древнекитайском (ДК) и старославянском (СС) языках. Целью, прежде

всего, было определено ряд индексов: индекса дейктичности (число дейктических местоимений на предложение), индекса нулевой дейктичности (НД), анафоричности и нулевой анафоричности (НА). Не анализируя подробно, за недостатком места, полученные данные, отмечу лишь, что языки образуют упорядоченный континуум как по индексу нулевой дейктичности, так и по индексу нулевой анафоричности. При этом, во-первых, обе последовательности достаточно хорошо скоррелированы, а, во-вторых, они не зависят прямо от наличия/отсутствия глагольного согласования (см. рис.1).

**НД:** СС, И (.23) > Р (.05) > ДК (.04) > А (0)

**НА:** ДК(.37) > И (.17) > СС, Р(.15) > А (.09)

Рис. 1 Ранжирование языков (текстов) по индексам нулевой дейктичности и нулевой анафоричности

Что лежит в основе наблюдаемого явления? Можно полагать, что за данными характеристиками текстов стоят прежде всего культурные факторы, факторы, относящиеся к культуре, это — степень, так сказать, «выпяченности» Я, Эго. Существуют культуры с более выраженным акцентом на Я, их можно назвать — я-культуры (персоналистские культуры), и культуры с меньшим акцентом на Я — коллективистские или мы-культуры. Конфуцианскую китайскую культуру с ее уравнивательными тенденциями и строго функциональным подходом к оценке личности (личность есть не более, чем социальная функция, «позиция» в социальном иерархическом устройстве) очень хорошо описывает высказывание современного китайского автора: «Понятие человека как самостоятельного деятеля в области, определяемой принципами морали, что выступает краеугольным камнем западной этической мысли, в конфуцианских этических размышлениях отсутствует. Человек как существо, обладающее свободой воли, не принимается во внимание. Такой подход не играет какой бы то ни было роли в понимании механизма социального взаимодействия. Причина существования человека как члена общества полностью определяется отношениями в соответствующем обществе, которые, в свою очередь, подчиняются Ли (поясню, что Ли — закон, гарантирующий должное функционирование как Космоса, так и общества, можно вспомнить понятие «рита» в ранних версиях индийского брахманизма). Человек как индивид вне сетки социальных и политических отношений нигде не фигурирует в конфуцианских этических представлениях».

Лишний раз подчеркну, что, когда мы говорим о я-культурах и мы-культурах, речь идет именно о континууме — о степени проявления соответствующих признаков. Человек как таковой начинается с того, что противопоставляет себя миру, человек, по словам Мартина Хайдеггера, «вброшен в мир» — в отличие от животного, которое «впущено в мир», животное не выделяет себя из мира, это что невозможно без самосознания, а животное не обладает самосознанием. Но у людей разных сообществ «степень конформизма» варьирует. По-видимому, в сильнейшей степени развитию персоналистских/коллективистских тенденций способствует тип конфессии (христианство в целом поощряет персонализм, особенно явно это делает протестантизм), но я не хотел бы вдаваться в эту специфическую область.

Равным образом культурные импликации можно усматривать и в различии индексов нулевой анафоричности. Типичное отсутствие знака, эксплицитно отсылающего к antecedенту, характерно для обществ с высоким уровнем общности фоновых знаний, где, к тому же, обычны традиционные условия речевого контакта, когда описывается наличная ситуация. В этом случае мы, как правило, имеем дело с диалогом культурно близких индивидуумов, и дискурс строится, соответственно, именно по правилам диалога, а диалог представляет собой, так сказать, вторую стадию с точки зрения свернутости сообщения после внутренней речи. Эта тенденция в соответствующих культурах столь сильна, что даже формально монологические тексты обнаруживают сущностные признаки диалога. Поэтому языки типа китайского уместно называть

диалогоцентричными в отличие от языков монологцентричных. Здесь имеется в виду, прежде всего, степень проявленности соответствующих признаков, а не какая-то жесткая дифотомия — так или не так, да или нет. Используя термины Мак-Люэна, можно сказать, что высказывания на языках типа китайского являются «холодными»: их нужно «разогреть» путем помещения в контекст, чтобы они стали восприниматься адекватно. Высказывания же на языке наподобие русского, а еще более — английского выступают как относительно более «горячие», они в меньшей степени нуждаются в погружении в контекст «перед употреблением», являются в большей степени автосемантическими.

Текст, естественно, не только порождается, он равным образом предназначен для восприятия. В закономерностях восприятия мы также можем видеть культурно-обусловленные различия. Начнем с самых простых. Существуют различия в среднем речевом темпе для ситуации данного коммуникативного типа у разных этноязыковых сообществ. Любопытно, что даже когда это сообщество использует один и тот же язык, даже и в этих случаях мы можем усмотреть различия в типичном темпе речи. Результаты наших неформальных экспериментов с восприятием французской речи французами и франкоговорящими швейцарцами показали, что один и тот же текст (в исполнении диктора-француженки) вполне адекватно воспринимается аудиторами-французами, но заметно хуже — швейцарцами Лозанны (франкоязычного кантона), швейцарцы ценят темп как чересчур быстрый и вследствие этого трудный для понимания в данных экспериментальных условиях.

Более сложны и тонки различия, которые были обнаружены между восприятием текста русскими и франкоязычными швейцарцами в ходе экспериментов типа *close tests*. Эти эксперименты впервые были проведены, кажется, в 50-е гг. главным образом для оценки степени владения языком, изучаемым как неродной. В экспериментах в тексте удаляется каждое *n*-е слово (4-е, 6-е, 8-е) и испытуемым предлагается заполнить образовавшиеся лакуны. В наших экспериментах, в отличие от традиционных, присутствовали также версии со звучащим текстом, но анализ их результатов — предмет отдельного обсуждения.

Испытуемым предлагались письменные параллельные тексты, в которых было удалено каждое 4-е слово. В число вариантов эксперимента входил и такой, где позиция удаленного слова не была обозначена (то есть не ставился прочерк) и испытуемым (было 10 человек русских и столько же швейцарцев) просто предлагалось внести необходимые дополнения в текст, чтобы сделать его связным.

Именно этот последний вариант эксперимента (с отсутствием прочерков) представляет сейчас для нас особый интерес. В предыдущих экспериментах наблюдалось, что для параллельных текстов степень трудности их восприятия при удалении одинакового числа слов и по одному и тому же принципу оказывается одной и той же. Однако наши данные не подтверждают этот тезис: результаты русских и швейцарских испытуемых существенно отличались; вероятно, сказывалось то обстоятельство, что, в отличие от наших предшественников, мы вычеркивали в экспериментальных текстах не каждое 6-е или 8-е, а, как сказано, каждое 4-е слово. В особенности различия были заметными для текстов с не обозначенными местами пропусков. Так, процент правильного опознания (угадывания) слов, позиция которых не была отмечена в тексте, для русских испытуемых составил 46.8%, в то время как для швейцарских — всего 12.7%. Как можно видеть — различие очень большое. При этом русские испытуемые лишь в 25% случаев давали «отказы», т.е. просто оставляли экспериментальные бланки как они есть, то есть — испытывали непреодолимые трудности в приведении семантически дезорганизованных пассажей к некоторому связному виду. Для швейцарских же испытуемых этот показатель равнялся 46.1%. Опять-таки очень большая разница.

Как можно объяснить эти данные? Представляется, что объяснение должно учитывать как грамматико-типологические, так и культурологические факторы. Хорошо известно, что во французском языке существенно более жесткий порядок слов, нежели в русском. Более того, французский дискурс «славится» своей склонностью к высокой степени упорядоченности, формальной прозрачности и ясности. Все эти черты в среднем русском

тексте выражены слабее. Отсюда легко представить себе, что структурно-семантическая дезорганизация французского текста, не дающая ключа (в виде указания на позиции пропущенных слов) к уяснению принципа дезорганизации, должна в большей степени мешать восприятию текста французскими испытуемыми по сравнению с русскими.

Косвенным свидетельством реалистичности такого объяснения может служить и относительная легкость или сложность идентификации пропущенных глаголов-сказуемых. В текстах с указанием позиции пропущенного слова французские испытуемые правильно идентифицировали глаголы в 48% случаев, а русские — в 34%. Для текстов без указания позиции те же показатели составили 25% и 28% соответственно. Иначе говоря, для французских испытуемых указание на позицию, отвечающую структурной вершине предложения, которая как раз и представлена в глаголах-сказуемых, было гораздо более значимой подсказкой, чем для русских: знание позиции, «пригодной» для глагола-сказуемого, повышало шансы его восстановления в силу «пространственной» определенности этой позиции.

Вне всякого сомнения, в процессе восприятия речи «работают» как эвристические процедуры (преимущественно эвристические), так и алгоритмические, как процедуры принято говорить «снизу в верх», так и процедуры «сверху вниз». Но можно предположить, что существуют культурно-обусловленные различия в соотношении этих процедур: для носителей французского языка, вероятно, более существенны процедуры нисходящие — сверху вниз и процедуры алгоритмические, а для русских — восходящие и эвристические. Еще раз подчеркнем, что речь может идти только лишь о достаточно тонких различиях, обусловленных типологией языка и культурным типом дискурса. Было бы неоправданным экстремизмом утверждать, что носители разных языков (разных культур) используют абсолютно несходные стратегии в порождении и восприятии речи.

#### Литература

1. Bao, Zhiming. 1990. Language and world view in ancient China. *Philosophy East and West*. XL.2. 195-219.
2. Bybee, J.L. Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
3. Coleman, Lerita M. 1988. Language and the evolution of identity and self-concept. - Frank S. Kessel (ed.). *The development of language and language researchers: Essays in honor of Roger Brown*. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 319-338.
4. Fodor, Janet D. 1980a. *Semantics: Theories of meaning in generative grammar*. Camb. (Mass.): Harvard Univ. Press.
5. Fodor, Jerry A. 1980b. *The language of thought*. Camb., Mass.: Harvard Univ. Press.
6. Huang, Yang. 1994. *The syntax and pragmatics of anaphora: A study with special reference to Chinese*. Camb.: Camb. Univ. Press.
7. Goddard, Cliff & Anna Wierzbicka (eds.). 1994. *Semantic and Lexical Universals [Studies in Language Companion Series 25]*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.
8. Jackendoff, R. *Patterns in the mind: Language and human nature*. New York, 1994.
9. Kasevich, V.B. *On Universal Grammar and cognitive primitives*. - *Becoming loquens: More studies in language origins*. Frankfurt am Mein e.a., 2000.
10. Lumsden, C.J. & E.O. Wilson *Genes, mind, and culture: The coevolutionary process*. Camb., Mass., 1981.
11. Kasevich, V.B. & T.N. Nikitina, sous presse. *Les aspects syntaxiques et culturels de la deixis et de l'anaphore*.
12. Oiler, J.W. et al. (1972). Cloze tests in English, Thai, and Vietnamese. Native and non-native performance. *Language learning*. 22.1.1-15.
13. Tay/or, N.L. 1953. Cloze procedure: A new technique for measuring readability. *Journalism Quaterly*. 33. 48-58.
14. Wierzbicka, Anna. 1990. The meanings of color terms: semantics, culture, and cognition. *Cognitive linguistics*. 1.1. 99-150.

15. Венцов, А.В. & В.Б.Касевич. 1994. Проблемы восприятий речи. СПб.: Изд. СПбГУ.
16. Касевич, В.Б. 1996. Буддизм. Картина мира. Язык. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение».
17. Касевич, В. Б. Культурно-обусловленные различия в структурах языка и дискурса. « XVI Congres International des Linguistes. Seances plenieres: Textes. Paris, 1997.
18. Касевич, В.Б. и др. 1990. Ударение и тон в языке и речевой деятельности. Л.: Изд. ЛГУ.
19. Лоренц, К. Кантовская концепция аргюи в свете современной биологии . - Эволюция. Язык. Познание. М., 2000.
20. Мауро Т., дв. Введение в семантику. М., 2000.
21. Муковский, О.Л. 1996. Анафорические и дейктические характеристики текста (на материале английского, русского и испанского языков). Вестник СПбГУ. 1.2. 109-113.
22. Сведенцова, Е.А. Дейксис и анафора в старославянском тексте в сравнении с русским (рукопись).
23. Грубецкой, Н.С. Основы фонологии. М., 1960.
24. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х тт. Т.2. М., 1967.
25. Хахлвег К., Хукер К. Эволюционная эпистемология и философия науки // Современная философия науки. М., 1996.